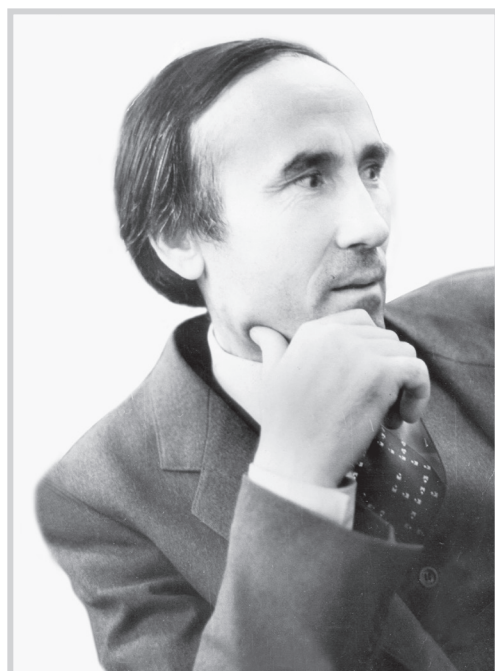


150

75

ПАМЯТЬ

# ЕВА НА ПАШНЕ



*Ямилъ  
Сафиуллин*

МОЮ маму звали Хәлүә (Халуа). Редким у татар именем. Оно заимствовано у арабов, которые в свою очередь переняли его у евреев (*Навва*). Так семиты называли первую женщину – прародительницу человеческого рода, известную у христиан как *Ева*. В паспорте, однако, мама была записана на кириллице – *Халва́*. Неожиданное превращение собственного имени в название сладости. Таких метаморфоз в мире татарских имён, при написании их на кириллице, предостаточно. Имена теряют свои начальные значения, трудно произносятся и нередко даже носителям своим мало радости доставляют.

В начале прошлого века в России родилось целое философское течение *имеславие*. Флоренский, Булгаков, Лосев состояли в нём, В. Иванов и другие поэты и прозаики. Они утверждали, что у каждого имени – свой смысл и энергия, что между именем человека и событиями в его жизни существует связь. Не берусь оценивать такую точку зрения, но то, что и в обыденном сознании она имеет хождение, несомненно. Иначе не объяснить, почему так непрост для нас выбор имени для появившегося на свет нового существа и какие споры при этом нередко возникают.

Есть имена-символы. Достаточно их услышать, как в нашем воображении всплывают целые истории. *Ева* в их числе. Бог лишил Еву и Адама за грехопадение бессмертия, изгнал из рая и определил наказание, которое им и их потомству суждено нести. В Первой из книг Библии сказано: «Жена будет обольщать мужа, но останется его рабой и будет рожать ему детей в муках, а человек (Адам) будет смертным, будет в поте лица есть хлеб».

Изгнавший первых людей из тесного рая в земной мир Бог не мог предвидеть (если такое слово в данном случае уместно), сколь изобретательным окажется свободный человек. Предначертанной Богом судьбе он не покорится. Изменит границы во взаимоотношениях жены и мужа. Грех преобразит в любовь, муки родов – в радость. Жена станет выращивать хлеб, а муж – убивать себе подобных. Однако человек продолжит верить в жизнь и видеть за тьмой страданий, ниспосланных на него Всевышним и им самим умноженных, свет радости и надежд.

Моё повествование – лишь попытка быть в этой большой теме. Мне было шесть лет, когда началась Отечественная война, породившая множество страданий. С восьми – я её помню.

Отнести написанное мною к какому-то из известных жанров непросто. Не рассказ, не повесть, не очерк... Воспоминание? Но к чему тогда порою неожиданные переходы к давно прошедшему



Главная героиня рубрики  
*Халу Бикмухаметова*

или к современности? Потому, как мне представляется, что воспоминаний в чистом виде не бывает. Деление времени на прошлое, настоящее и будущее очень условно. Война, о которой речь, – в прошлом, за тремя поколениями. Но она в нас и теперь. Не только источник томлящей и сегодня боли, но и то, как мы своё будущее представляем себе и творим.

У сочинения моего метафорический заголовок. Но в основе – рядовая правда. Время, место, имена, события – всё так, как было. Село Максютово Кугарчинского района республики Башкортостан. Колхоз имени XVIII партсъезда. Самая что ни на есть провинция России. 1943–1945 годы.

\* \* \*

– *Хәлүә, вакыт!*<sup>1</sup> – Это Муса, бригадир. На коне, у окна нашего дома. Стучит рукоятью *камчи*<sup>2</sup> по раме. Раздаётся глухой звон стёкол. Вскоре по-

<sup>1</sup> *Халуа, пора!*

<sup>2</sup> *Камча – нагайка, плеть.*

явившаяся в полутьме утра тень Мусы исчезает; слышится топот его коня, скачущего к следующему двору. Мама уже давно на ногах. Выдоила корову, вернулась в дом и теперь, сидя на кровати за пологом, кормит грудью Фарита. Я, мои сёстры Закия и Мадина спим на сәке<sup>1</sup>. Снова уложив малыша в его люльку, погладив каждого из нас по спинкам, приговаривая «спи», мама выходит из дома. Перед тем, как вновь уснуть, слышу, как она выводит со двора корову, которую мы звали *Зифа*<sup>2</sup>, говоря ей что-то ласковое, и прикрывает калитку.

Их путь – к расположенному рядом с деревней колхозному полю, вспаханному осенью и в комьях оставленному под зиму. Так оно лучше держит снег и талая вода не стекает с него, а впитывается в землю. Ранней весной поле надо заборонить: разрыхлить его поверхность. Иначе солнце и ветер быстро иссушат почву.

До войны бороны прицеплялись к трактору, или тянули их лошади. Но теперь трактор берегли в основном для пахоты земли. Хороших лошадей забрали на фронт и в «трудовую армию». Часть из оставшихся лошадей подвязывали верёвками, подведёнными под животы, к перекладинам в колхозном сарае, чтобы они не ложились. Иначе они, истощённые, не в силах будут подняться на ноги. Между тем боронование – срочная работа, которую надо завершить всего за несколько дней. Поэтому стали подключать к ней как тягловую силу и домашних коров, которые содержались в возможно внимательном уходе за собой. Изготовили ярма, облегчили бороны, заменив металлические зубья в них на деревянные. Запряжённую в борону корову должна была водить по пашне её хозяйка. Позже, когда почва прогреется, поле засеют горохом, подсолнечником, свёклой, картофелем – культурами, которые, в отличие от зерновых, требуют постоянного ухода: прополки, мульчирования, окучивания.

<sup>1</sup> Сәке – нары.

<sup>2</sup> Зифа – статная, стройная.

И этим, словно на барщине, будут заняты женщины и дети на закреплённых по отдельности за каждым домом наделах.

Уже на другое утро мама взяла меня с собой. Оказалось, нашей молодой корове трудно тащить борону; она часто останавливалась, и побудить её к тому, чтобы она решилась идти дальше, было нелегко. Теперь же нас на поле трое, и выстроены мы так: мама впереди, и больших отцовых сапогах и с поводком от узды в руке, затем – корова с боронной, а я, босой и с хворостиной, – на пашне, слева от них. Дело пошло лучше и быстрее. Родилась уверенность в том, что данный бригадиром «наряд» – задание на рабочий день, удастся вовремя выполнить. Однообразная и тяжёлая работа утомляла нас, и изредка мы позволяли себе отдохнуть.

Поле, на котором мы работали, на пологой части горы. Расположенная на равнине деревня ниже. Белый туман с неё сползает к озёрам за огородами, к реке. Первыми обнажаются крыши домов.

Удивительная картина, которую мне позже не приходилось видеть в живописи, в фотографиях или в кино, превращающих крыши в темы творчества! Под железом ангар машинно-тракторной станции и два дома её служащих. Наш – под тёсом. Остальные крыши соломенные. Но много и таких, где вместо покрытых крыш лишь стропила, обрешётка да высокие печные трубы. Солома с них снята в конце зимы и ранней весной на корм скоту. В таких домах их хозяевам придётся жить всё лето, до нового урожая соломы. От слабого дождя хорошо и частью от сильного будет спасать только толстый слой перегноя, который насыпался на потолок дома, чтобы сохранять тепло в нём.

Останки сожжённых немцами или уходящими в партизаны крестьянами деревень, состоящие из печей и труб, которые приходится видеть в кинокадрах времени войны, напоминают мне и мою деревню. Но таких, как наша, было по стране, несомненно, больше,

чем сожжённых на фронте и в пограничье к нему.

Работа на поле велась посменно. Сил хватало, возможно, на три или около того часа. Сигналом пересменки бывал прискакавший из деревни Муса. На малорослой, монгольской породы лошади, чёрной масти и с длинной, почти до земли гривой. Преданной хозяину и злой. Нам, мальчишкам, не подойти – укусит. На голове Мусы будёновка с красной звездой и с опущенными ушками. В руке камча. Он без правой ноги. Говорили, потерял её в гражданскую, в бою с белыми.

Муса останавливался на краю поля и, ничего не говоря, смотрел на выполненное нами. Вместо слов постукивал рукоятью камчи по деревянной своей ноге. Нередко знаки сильнее слов внушают, принуждают, страшат. Надсмотрщики с рабами в разговоры не вступают. Прошли годы, но Муса – символ власти, безжалостного принуждения, всё ещё в моей памяти. Будёновка, нагайка, деревянная нога, чёрный конь. Не потомок ли он древних гуннов, мигрировавших на Запад через лесостепи Южного Урала?

Домой Зифа, медлительная на работе, шла живее, будто в ожидании встречи со своим телёнком. Его, ушастого, с большими чёрными глазами и блестящими, также чёрными копытцами, мама на руках выносила из дома в сарай и подпускала к матери, чтобы к вечеру внести обратно в дом. Весенние ночи холодные. И молоко, кроме него, и нам должно было доставаться. Нас, детей, было четверо, и просто пить его, как возможно теперь, не приходилось. Молоко добавляли в чай. *Баламык*<sup>1</sup>, *умач*<sup>2</sup> заправляли катыком. Заготавливали на зиму приготовленный из молока *корт*<sup>3</sup>.

Как мало хороших слов о корове у нас написано! В Древнем Египте были

священные коровы, они есть и в современной Индии. Вторая и самая длинная сура в Коране называется *Жёлтая корова*. Но для нас она просто кормящая природа. Наше отношение к ней потребительское и с долей высокомерия. Не потому ли, что, в отличие от собаки, кошки, лошади, корова не льстит человеку, которому так приятно быть в плену у лести?

При классицизме слово «корова» было вытеснено в «низкий» литературный стиль. И традиция жива поныне. Длиннен ряд одушевляемых в литературе птиц, животных и даже насекомых. Но метафоры со словом «корова» очень редки и с негативным в основном содержанием. Неловкую в своей походке и идущую напролом женщину называем мы коровой. И большие чёрные глаза будут для нас коровьи, если в них не находим смысла.

Женщина на пашне, на жатве – известная в русской живописи, особенно в романтической её ветви, тема. У А. Венецианова, к примеру, в картине «На пашне. Весна» стройная замужняя крестьянка в нарядном сарафане и малиновом кокошнике ведёт двух запряжённых в борону коней. А ребёнок её на краю поля играет с подснежниками. Идиллия. Особый жанр. Картина написана мастерски. В ней своя правда. Художественная. Но далёкая от реальности, о которой шла речь выше. Правда искусства и правда жизни – не одно и то же.

\* \* \*

Последние годы перед войной были урожайными и спокойными. Казалось, судьба вознаграждает за доставленные ранее страдания: Гражданскую войну, два больших голода, которые пришлись на начала второго и третьего десятилетий. В нехитрых крестьянских хозяйствах появился достаток. Женщины нарожали детей. Мама, которой было сорок лет, в 1941 году родила шестого ребёнка. Родная наша тётя Магрифа родила семерых детей. Двоюродная Сагида – четверых. И так почти по всей деревне.

<sup>1</sup> Баламык – густая мучная болтушка, сваренная на муке.

<sup>2</sup> Умач – суп с размельчённым тестом.

<sup>3</sup> Корт – варёный и высушенный творог.

Война разразилась неожиданно и как стихия нависла над жизнью, над всем обретенным добром и присутствующей человеку радостью размножения. Не думали, что она столь долго будет длиться. К 1943 году, ко времени, с которой она мне помнится, началось обнищание деревни и пришёл голод. Пустели сараи, разбирались на дрова амбары и другие ставшие ненужными надворные постройки. Оживляющие крестьянские дворы овцы, козы, гуси, куры редко в каком из них сохранялись в привычном разнообразии.

Женщины перестали рожать. Люльки – обязательный предмет быта в крестьянском доме, пустые и холодные, снимались с потолочных крючков, выносились в сени или оставлялись на саке, чтобы лишь подушки на них складывать. Перестал слышаться плач только что родившихся и требующих внимания к себе детишек. Смолкли колыбельные песни. У женщин – впалые животы, обвисшие груди. Им некого обольщать. Они стали похожими на волчиц, дорожащих своим выводком и готовых ко всему, чтобы он выжил. Перестали появляться в деревне и нищенки. Нечего было им подать. Казалось, жизнь как смена поколений подошла к своему концу. На фронте она уничтожалась и в тылу оказалась под угрозой вымирания.

Мне не дано описать все тяготы войны и голода, выпавшие на долю даже одной нашей деревни. Видимо, это и невозможно. И не особенно-то хочется таким трудом заниматься сытому, в тёплом доме и удобно одетому. И написанное, как ни много в нём окажется подробностей, может явиться для чтения лишь тягостным занятием. Не стану я и взывать читателя к жалости и состраданию к героям моего повествования. Пустое дело. Буду говорить об уроках войны и голода, которые во мне и теперь. И в тебе, дорогой читатель, правда, в отфильтрованном времени и уже, возможно, не осознаваемом тобою виде.

Колхоз наш зерновой. И земля –

чернозём. Вплоть до середины девятнадцатого века она была просторной лесостепью с башкирскими кочевьями в ней. Распахивать её начали переселенцы, в основном со Среднего Поволжья: татары, русские, чуваша, мордва. Особенно интенсивно со времени столыпинских реформ. Случилось так, по воле истории, что на небольшом пространстве, рядом с нашим располагались сёла: Ардатово – мордовское, Сазово – башкирское, на востоке, ближе к лесу и к горам, русское – Алексеевка, на левом берегу реки Ик чувашское – Красный Яр, на правом – яйцких казаков Назаркино, в которое мне, начиная с пятого класса, предстояло ходить учиться. И основным занятием в этих поселениях было земледелие – выращивание пшеницы, ржи, проса, овса, ячменя, подсолнечника, овощей и др.

Сколь бы ни был плох колхоз, как принято теперь говорить и думать, в нём существовало равновесие между трудом и его оплатой. Чем больше трудней у тебя в книге учёта, которую ведёт бригадир, тем выше твой заработок в виде зерна и частью – денег. Война разрушила такое правило.

Убранное с полей, высушенное, очищенное от мякины зерно отправлялось в государственные заготовительные пункты в счёт плана на его поставку, спускаемого колхозам сверху. Лишь небольшая его часть оставалась в собственности колхоза. И этот остаток распределяли по дворам. По справедливости. Не только с учётом того, кто участвовал в его производстве, но и по числу в семьях детей, стариков, больных. Почти поровну, по степени нужды в нём. Муки из заработанного или милостиво наделённого им зерна хватало, при условии острой экономии, до ранней весны. Правда, оставались ещё картофель, тыква со своего огорода, масло подсолнечника, если ты его выращивал.

Человек, отчуждённый от радости труда, плоды которого у него отнимались, не защищаемый от голодной смерти ни властью, ни государством,

одиноким, – прислонялся к природе: к земле, растениям, животным. Вставал вместе с солнцем и при его закате уходил в сон, ел растения и, по возможности, любые из них, становился подобием животного. Всему этому он учился или, вернее, всё это воспроизводил из долгой своей истории: собирателя, охотника, скотовода, земледельца.

Голод, за которым стояла война, для меня и моих сверстников был школой – чувствовать, видеть в природе начала жизни и радоваться им. Идти босиком по пашне, тёплой по верху, вязкой и холодной в глубине, которая к лету разродится зерном, овощами; замечать, как сразу после снега, на пригорке пробиваются сильными листочками крапива, на приозёрных лугах начинают зеленеть кустики щавеля, на лесных полянах вырастает крепкий в стволе и с лапчатыми листьями борщевик.

Детская психология в полноте своей не воспроизводима, хотя мы, взрослые, привыкли думать иначе. Из детства в памяти остаются лишь отдельные эпизоды; и в основном те, что и теперь кристаллизуют наши чувства. В моей памяти тоже есть такие. Они являются мне в снах, сказываются в моём поведении, бытуют в основе моей философии жизни.

Мне помнится, как в первый раз мама взяла меня с собой собирать колоски. На пшеничное поле, которое после уборки урожая с него было оставлено на зиму нераспаханным. На стерне, после схода снега, можно было находить перенёсшие зиму колоски пшеницы.

Осенью ни комбайну, ни конной косилке, ни жнецам не удавалось проводить уборку так, чтобы весь урожай до последнего колоска был собран. Мама знала, в каких местах поля колосков может быть больше. Я ближе к земле и легче, быстрее их достаю. Среди них и такие, что особо налиты в зерне; они тяжелее и ещё до начала уборки гнут свои стебли и ложатся на землю. Словно ждут по весне бедного человека; спасение ему. На сборы колосьев отво-

дится всего несколько дней: прогреет солнце, потеплеет земля, и зёрна в них начнут прорастать. Тогда их и ни высушить, и ни размолоть.

Мне стало нравиться выходить на поле и одному. Быть под ранним солнцем, на границе тающего снега и чёрной земли, аккуратно укладывать колосья в холщовый мешок и с собранным добром возвращаться домой.

Кажется, в то время и родилась моя привязанность к жизни в растениях, желание беречь и лелеять злаки. Какое совершенство колос! На одном стебельке десятки зёрен, и каждое в своём гнёздышке из чешуек и в тонкой кожуре, как в рубашке. Оно готово тронуться в рост, стать началом нового растения. Как давно я не пересыпал пшеницу из ладони в ладонь, чувствуя вес каждого зёрнышка и ту жизнь, что в нём таится!

Чтобы размалывать зёрна, у нас был оставшийся от деда жёрнов. Настоящий, из кремневых камней, с наклонным лотком для муки, которая могла по нему падать в подставленную посуду. Пользоваться им приходили также родственники и соседи. С самого рассвета или поздним вечером. Потому что размалывалось «ворованное» зерно.

По закону 1932 года, прозванному в народе «три колоска», занятие, о котором говорилось выше, приравнивалось к хищению колхозного имущества и подлежало строгому наказанию. Однако в годы войны закон этот фактически перестал действовать. Почему? Об этом чуть ниже.

Как бы ни был отстранён человек от выращенного им зерна, которое у него отнималось, он стремился быть рядом, соприкоснуться с ним. Молотить, как в далёком прошлом, тяжёлым цепом снопы; веять, сушить зерно, подбрасывая его при легком ветре деревянными лопатами вверх, насыпать в мешки, грузить в подводы, машину и др.

Но женщин заставлять заниматься такой тяжёлой работой не приходилось. Наоборот, отказать в ней для них – наказание. Зерно можно было есть сырым, как это позволялось когда-то

рабам Рима, уносить домой в обуви, в карманах.

Пресечь подобное «воровство» было возможно. Но тогда у работниц исчезла бы, говоря современным языком, мотивация к труду. А власть? Куда она стала бы, к примеру, пристраивать детей осуждённой матери? Вот почему грозный закон «три колоска» в годы войны потерял силу. Подтверждались слова, сказанные ещё А. Герценом: «Русские законы ужасны, и спасает русских людей только то, что эти законы не выполняются». Власть мирилась с мелким «воровством». Стремилась лишь ограничивать его. К примеру, на работы, связанные с зерном, нельзя было ходить в сапогах, резиновых ботах, в которых можно было бы зерно уносить домой больше, чем допускалось.

Деревня кормила армию и город. Голодала, но уходить из неё было нельзя. Как при Борисе Годунове, который своим указом запретил крестьянам покидать свои деревни. Паспорт колхознику не выдавался. А куда без него?

Труд и хлеб в моём детском сознании и, видимо, почти всех, кто голодал в годы войны, были в явном единстве. Аксиома, истина которой теперь не очевидна. То, что можно есть дармовый хлеб, не заработанный тобою, я узнал в студенческой столовой Казанского университета в начале 60-х годов. В подвале левого крыла главного здания. Со сводами в классическом стиле. Там, кажется, в 1962 году на столах появились горки из нарезанного белого хлеба. Бесплатного. Ешь столько, сколько хочешь. Как хорошо к концу стипендии!

Мы, четверо ребят из студенческой группы, приходили, покупали по стакану чая с сахаром за три копейки и садились за столик с хлебом. Чай можно было периодически разбавлять кипятком. Когда хлеб заканчивался, новую его порцию приносила «фея» в белом халате, нарезавшая его за занавесью в отдельном помещении. Рай на земле! И директор столовой, в прошлом явно военный, в офицерском френче хорошей сохранности, прихрамывая, проходил

вдоль вытянувшейся очереди студентов, заглядывая в небольшие залы, расположенные анфиладой и, кажется, довольный увиденным, уходил в свой кабинет, чтобы вскоре вновь появиться.

После войны регулярно наедаться я стал только в армии. Перловой кашей, гречкой, мясом, рыбой, картофелем – всем, что положено солдату за службу. Именно за службу, но не за учёбу же. Мне такое не было дано понять. Фантастика, думалось мне, которая не может долго длиться. И на самом деле, вскоре дармовый хлеб исчез. И более того, белый перестал свободно продаваться. Булку можно стало купить только по талону. Позже я узнал, почему так резко всё изменилось. Оказывается, оппозиционеры Хрущёва таким образом рождали в народе недовольство им, чтобы проще было его сместить.

Я так и не привык к современной культуре питания, порою утончённой и обильной. Моё любимое блюдо и теперь перловый суп с мясом, картофелем, морковью и перцем. Я плохой ценитель роскошных столов на банкетах, разного рода приёмах или просто в гостях. Слова «отличные грибочки, попробуйте», «почему вы так мало едите?» – меня не трогают и при повторах встречают внутренний протест. Сколько животных, рыбы, птиц, растений человек может поесть! Оставляя на пиршественных столах недоеденное, не соизмеряя и в своём быту потребное с возможным. Я знаю: то, что я говорю сейчас, против огромной пищевой индустрии и её доходов, против культа чревоугодия, которому предаётся сам человек. И может встретить сколь угодно возражений. Возможно, даже плохо. Но я таков, и здесь ничего не поделаешь.

\* \* \*

Отец наш ещё до революции закончил медресе в селении Каргалы около Оренбурга. Но, в отличие от нашего деда, быть ему религиозным служителем не пришлось. Он участвовал в Гражданской войне на стороне крас-

ных, стал председателем колхоза в деревне и как младший наследовал по праву дом и хозяйство своего отца. В 1937 году арестовывался.

По принятому среди татар обычаю маму как жену человека духовного образования называли *абыстай*<sup>1</sup>. Словом, обозначающим не привилегию в обществе, а, скорее, обязанности в нём. Давать советы, учить молитвам и грамоте, оказывать различного рода помощь.

У нас часто бывали родственники. Их было много, почти половина татар деревни: дед и бабушка вырастили одиннадцать детей, которые в свою очередь нарожали собственных. Иногда в нашем просторном доме устраивались посиделки с песнями и танцами.

Более всего мне нравилось видеть, слышать, как мама читает пришедшие с фронта письма и пишет на них ответы. Теперь я понимаю, сколь искусной она была в этом занятии.

В войну письмо с фронта для каждой семьи – событие. Вместе с письмом приводили к нам и детей, чтобы и они слышали написанное отцом, его приветы и наставления. Письма большей частью бывали написаны на арабице, запрещённой ещё в 1927 году к пользованию. Мама владела, кроме арабицы, и кириллицей. Лишь на ней и по-русски писались адреса на треугольниках писем. Дело для многих трудно-исполнимое.

Я пристраивался около мамы, не вступая в разговоры или игры с пришедшими к нам детьми. Как можно писать такими каракулями, точками, неровными линиями? Как рождаются слова из таких букв? В школе учат совсем по-другому. Как затем складывается написанное в треугольник и химическим карандашом выводится адрес на нём? Мама, зная о моём интересе к письмам, заботилась о том, чтобы в её занятиях я был рядом с ней.

Приходили и письма-похоронки. Не треугольниками, а в конвертах. С типо-

графским текстом и с вписанными в него от руки фамилией, именем и отчеством убитого солдата, местом его захоронения. И с печатью воинской части в конце извещения. Слово «похоронка», трудно произносимое даже по-русски, в татарском языке не прижилось. Не было для него и переводного слова. Лишь изредка употреблялось целое словосочетание *кара кәгазь*<sup>2</sup>.

В сумке почтальонки «похоронка» носилась не в общей пачке писем и газет, а в отдельном кармане в ней. И замедленные, непривычные движения, в которых она доставалась, подготавливали трагическое известие. Не знаю, было ли это осознанным почтальонкой психологическим приёмом, готовившим адресата к горькой вести, или диктовалось в ней чувствами сострадания и такта.

Не ожидаешь ли того, дорогой читатель, что далее я стану говорить о рыданиях и потоках слёз от похоронок, о траурных одеяниях и других формах демонстрации страданий, как это принято писать в современной литературе о временах войны? Нет. В войну я редко видел слёзы, редко слышал жалобы. В слезах человек просит внимания, сочувствия к себе; его слёзы больше о нём самом, чем о потерянном человеке. Но к кому обратить слёзы и мольбы, у кого просить помощи? У власти, у Бога, который отстранился от человека, от таких же, как и ты, страдальцев? Война обесценила слёзы.

Приходила похоронка и на мужа тёти Сагиды, оставшейся одной с малыши дочерью и тремя сыновьями. Событие имело неожиданное своё продолжение. Через несколько дней она пришла к нам, посветлевшая в лице и в радостном настроении. С ученической тетрадью в руке, из которой обычно вырывались страницы для писем.

- Халуа, напиши Фаткулле.
- Как это, Сагида, напиши?
- Видела сон. Он живой. Пусть сы-

<sup>1</sup> Абыстай – жена духовного лица.

<sup>2</sup> Кара кәгазь – чёрная бумага.



новьям скажет построже, чтоб слушались.

– Почтальонка не возьмёт.

– Я попрошу её. – Она нервно водила ладонью по принесённой тетради.

– Не возьмёт. Ей нельзя. И другие начнут писать.

Вдруг Сагида-апа сникла, потух её взор. Она сорвала платок с головы и закрыла им лицо. Тяжёлые чёрные косы пали на опущенные плечи.

– Что это со мною? – прошептала она. Будто стала меньше ростом, ещё худее в теле. Ей было немногим больше тридцати. Осиротел дом, построенный её мужем. Большой, из сосновых брёвен, с полами из широких досок. Как раз напротив нашего, по другую сторону улицы. Не жить в нём им вместе.

Тетрадь, принесённая тётей Сагидой, осталась сиротливо лежать на столе. В обложке серо-голубого цвета, на которой, по правую сторону сверху, контурные рисунки голов Ленина и Сталина. Рядом, в профиль. В добром прищуре глаз и устах, будто готовых раскрыться в улыбке. Такие тетради были в школе и у нас. По одной на каждого. И только по чистописанию.

\* \* \*

Мне не нравилось, когда приходившие к нам родственники гладили меня по голове, похлопывали по спине, говорили, как быстро я расту. Быть взрослым, стать им как можно скорее – моя мечта, моё стремление. Из мужчин я старший в доме. Родившийся до меня мой брат умер ещё в младенчестве. Я постепенно овладевал тем, что мужчина может делать в доме. На мне заботы о Зифе: водить её к озеру поить, давать ей корм, содержать сарай в чистоте. Набрать воды в баню и затопить её. Вносить в дом дрова. Очищать дорожки от снега, открывать и закрывать ворота во двор. Моё старание «хозяйствовать» стало расти, когда я увидел, что и мама торопит моё взросление, готовит меня быть мужчиной в доме.

Стояла в нашем дворе небольшая,

сложенная из камня ещё при деде кладовая. В ней косы разных размеров, серпы, топоры, большие и малые, сбруя, тачка, ножное точило, цепи для молотьбы снопов хлеба и другое. Она обычно на замке. Мне стало позволяться открывать этот запасник, выносить на свет, рассматривать то, чем, по моим расчётам, можно пользоваться.

Я бывал около, когда мама колет дрова. Собирал поленья и складывал их так, чтобы лучше сохли под солнцем и на ветру. Вместе с мамой мы выходили косить траву на сено. За озёра, ближе к реке, к *тугаю*<sup>1</sup> вдоль неё. Моя коса укороченная, детская, из той же дедовой кладовой. Владеть ею сложно. То втыкается в землю, то просто скользит по траве, не скашивая её. И сил не хватает. Немало времени мне понадобилось на то, чтобы я чему-то в этом деле научился.

Как приятно вечером возвращаться с покоса домой, подобно взрослому с работы! Слушать песни, какие иногда запевала мама. Частью они запомнились мне; и особенно одна из них: в словах, мелодии, содержании. Её она повторяла, любила.

*Кара да ғынай урман, караңгы төн,  
// Яхшы атлар кирәк лә үтәргә...* (Чёрный-чёрный лес, тёмная-тёмная ночь, // Лишь хороший конь пронесёт тебя). Песня брала в сладостный плен моё воображение. Лес «чёрный» я мог только представить себе. Как и «хорошего» коня. Мне были понятны слова «чёрный змей, с головою цвета меди, в камышах». Такие змеи в зарослях камыша по берегам и наших озёр водились. Но к чему вдруг герой срубает в начале песни молодые осинки, потом берёзки и в конце опять осинки? Почему трижды повторяются слова *Ай, аерылмыйк, ду-скаем* (Да не расстанемся, мой друг)? Что может значить слово «друг» и как не надо расставаться с ним, – всего этого я не понимал. И мне казалось, и это впоследствии подтвердилось, что герой песни – мужчина. Конечно, мама

<sup>1</sup> Тугай – лесные заросли на пойме реки.

знала об этом и всё-таки решалась петь её. Она, как и мужчины до войны, боронила землю, молотила хлеб, грузила мешки с зерном в машину, рубила дрова... И в роли отца была в моём воспитании. Только она могла увлечь меня этой мужской песней и зародить во мне желание петь её самому.

В своей власти эта песня держит меня до сих пор. Заораживающей мелодией, недосказанностью в содержании, многообразием интерпретаций. У Ильгама Шакирова и целой плеяды его последователей, которые множат её варианты, продлевая её жизнь в современном народном сознании.

Песня, музыка были всё-таки редкостью в деревне. Роскошь. Нищета и голод – это тишина и безмолвие. Чем голод сильнее, тем выше давление гнетущей тишины, родственной небытию и смерти. Мир звуков сужался подобно тому, как зарастали тропинки в проулках между домами и почти безлюдными становились большие дороги.

Был в нашей деревне гитарист. Светловолосый русский юноша, которого вот-вот должны были призвать в армию. Из семьи, живущей при колхозной ферме, совсем рядом, всего в километре от деревни. Он приходил в клуб, где по вечерам собиралась молодёжь. В здании бывшей мечети, в котором до войны хранили колхозное зерно. После того как зерна не стало, хранилище превратилось в клуб. Зимой, когда парень в очередной раз возвращался домой, его нагнали и загрызли волки. Остались только части одежды и обуви да разбитая в попытках защититься от волков гитара.

По мере усиления голода беднел мир звуков. Птиц я почти не слышал. Они предпочитали вершины кустарников, деревьев и взлетали при виде человека. Лишь иногда *тургай*<sup>1</sup>, неожиданный небесный гость, бывало, камнем падёт на гребень вспаханной земли и почти сразу стрелой взлетит вверх и пропоёт звонкую свою песню, лишь ненадолго разрывающую тишину.

<sup>1</sup> Тургай – жаворонок.

Мы теперь постоянно в мире звуков. В шуме машин, рёве самолётов, в мерном постукивании вагонных колёс по рельсам, в потоках музыки и песен. Детские голоса, старческий кашель, монотонные речи, грозные возгласы, любовный шёпот... Разнообразие, которое и не перечислить, и не описать.

Порою звуки так назойливы и невыносимы. Особенно в большом городе. Но они же и родина музыки! Гармонии, вырастающей из шума, сора звуков, в которые мы погружены и без них не можем быть.

Мне нравятся не только приводящие в «порядок» и облагораживающие этот нестройный мир звуков гармоничные мотивы, но и современные песенные речитативы. В них – торопливость жизни, простор и теснота, жалобы, сила чувств и надрыв. Всё против тишины и устойчивости, против энтропии звуков. Пусть звуки льются через край, пусть будет больше голоса!

У голода и цвет свой. Бело-серый, холодный. Студня, медузы. В моём представлении – варёного ремня, который при его варке теряет краски, белеет. Студенистый по верху и жёсткий в середине. Трудно его разжёвывать, но он сытный. А, скажете, как же зелёный цвет травы, овощей? Или бледно-золотистый у пшеничного зерна? Ведь они тоже цвета. Не совсем. Для постоянно голодного – нет. Они – просто знаки, указывающие на то в окружающем, что можно пробовать есть. Как и для животного, столь близкий человеку зелёный цвет – только цвет выживания, не краска в её собственной сути.

В войну выцвели, потому что не освежались, типичные в татарских строениях яркие монохромные краски оконных наличников и ставен, ворот и калиток и др. Перестала подкрашиваться в зелёный цвет и тесовая крыша нашего дома, которая к концу войны сгнила.

Правда, в бедном, суженном голодом мире цвета были и исключения. Жёлтый, в частности. Свободный, не знак чего-то, а трогательный сам по себе. В огороде своём мы сеяли под-

солнечник и сажали тыкву. Жёлтая головка подсолнуха – целое соцветие из сотен мелких пестиков и тычинок, встречает солнце на его восходе и, будучи постоянно, словно подданный к своему повелителю, повернутым к нему лицом, благодарно впитывает в себя его лучи, провожает его до заката, чтобы на завтра утром снова увидеться с ним. Такие же, в своей собственной красоте, и цветы тыквы, тоже жёлтые. Крупные, с широко раскрытыми, густо опушёнными и длинными лепестками. Любимые шмелём. Он, коричневаточёрный, входит в него и весь в жёлтой пыльце вылетает к другому цветку.

Весной река Ик затопляла, разливаясь, свою широкую пойму. На ней, когда вода спадала, ненадолго оставались озёра. На их низких берегах, где вода и земля сходятся, выросал дикий лук. Мы, мальчишки, с охотой собирали его. Думаю, его щипали и дикие гуси, которые, постепенно сужая круги своего вращения в небе, опускались на воды невдалеке от нас.

Подойти к озеру в обуви невозможно. Топь. Проще босиком. Холодно. Но лучшей приправы к пресным травам, картошке, к супу нет. Темно-зелёный стебелёк лука появляется ещё в воде. На воздухе он крепнет, но достать его вместе с луковицей и пушком тонких белых корней просто.

Вода, воздух, солнце – начала жизни. Традиционный в фольклоре, литературе, затаившийся и в моём сознании образ. Он ещё с древнего шумерского эпоса о Гильгамеше, со дна моря доставшего Злак – древо Жизни.

\* \* \*

Весна 1945 года выдалась ранней и тёплой. Уже к началу мая растаял лёд на озёрах, и мы, мальчишки, стали пробовать купаться: лежать на согретом солнцем песке у озера и время от времени входить, окунаться в холодную воду.

9 мая мне помнится хорошо. Ближайшее к деревне озеро с высокими

берегами, глубокое, с небольшим песчаным пляжем у самой воды, с зарослями *чилиги*<sup>1</sup> на обратной стороне. Время, скорее всего, послеобеденное, к которому вода успела согреться. Вначале мы услышали доносящийся издали голос, повторяющий неясное слово. Это Муса на своём чёрном коне нёсся к нам. Рука с камкой поднята вверх. Белая пена с боков его лошади. «Победа! Победа!» – повторяет он осипшим голосом. Видимо, уже обскакал всю деревню, поля, где работали колхозники, и очередь дошла до нас.

Мы бросились к домам. Врассыпную, каждый по меже своего огорода. Не обращая внимания на крапиву и рытвины в земле.

Война кончилась. Но голод в деревне лишь усилился. Достиг он своего апогея весной 1946 года. И в нашей, и в других деревнях случались смерти от него. Сейчас и представить себе такое невозможно. Как это, умереть от голода, когда ты среди людей и есть общество, должное защищать тебя? Но я видел умирающего от голода. В южной части нашей деревни, где проживали в основном башкиры. Они, привыкшие к мясной пище и мало приспособленные к растительной, особенно тяжело переносили голод.

Когда слух о близкой смерти одного из них прошёл по деревне, мы, мальчишки, ходили смотреть на него. Лежал он на деревянном, приподнятом над полом настиле веранды дома. В валенках, накрытый старым стёганым одеялом и разной ветошью. С опухшим, серо-жёлтым лицом. С застывшими, немигающими глазами.

\* \* \*

Мама после войны прожила ещё двадцать лет и умерла в декабре 1965 года, на шестьдесят четвёртом году жизни. Начиная с четырнадцати лет я стал реже видеться с ней. Учился в отрыве от дома, служил в армии, после

<sup>1</sup> Чилига – кустарник жёлтой акации.

которой вновь учился, но уже в Казанском университете, остался жить и работать в Казани. Мы редко виделись. Я не спрашивал её о войне, о страданиях, выпавших на её долю, и не пытался представить прошлое в её оценках.

Она писала стихи. И, мне кажется, в одном из них (газета «Совет Башкортостаны», 13 января 1965 года)<sup>1</sup>, коротком, исповедальном, сказано о том, чем была для неё жизнь. Растить детей в заботах и видеть их в ответных к тебе чувствах. Не слишком ли просто? Да. Так же «просто», как основа человеческого существования, растительно-го и животного мира – воспроизводить жизнь в себе подобных. Нет слов, которыми надо обосновывать эту истину, она – реальность, вне которой нет жизни.

Её испытанием стала война. Можно по-разному рассуждать о том, почему удалось осилить врага. Мудростью ли Сталина, полководческим даром Жукова и других военачальников, Божьей волей, нашей географией и климатом? Конечно, и эти факторы могли иметь место, но главное, мне думается, в той силе сопротивления смерти, в той у народа энергии самосохранения, накопленной за века, в инстинкте продлевать жизнь в рождении новых и новых поколений.

Война – против жизни. По словам В. Астафьева: «Мы победили в войне. Война победила нас». В войну мы потеряли миллионы жизней, унесённых на полях сражений, в тылу от голода и болезней, в лагерях смерти. В войну мы получили и нравственные травмы, живые и теперь.

Откуда в нас недоверие к чужим народам, боязнь, что они только и думают о том, чтобы нас притеснить, унижить, завоевать в конечном счёте? От прошлой большой войны, жертвой

которой мы стали. Тогда страх быть покорёнными и потерять свободу были в основе сопротивления врагу. Но культивировать такой страх, искать «врагов» сегодня? Даже в тех, кто с тобою вместе воевал против общего врага, в «малых», не способных сопротивляться твоей силе народах?

Мы так любим быть мобилизованными, как и в прошлую войну. В постоянно обновляемых формах: парадах, шествиях, демонстрациях разного рода. Личная свобода, как нам представляется, разрушает единство, ослабляет сопротивление в противостоянии с существующим или с возможным в будущем врагом. Как часто мы, как победители, горды и правы во всём, высокомерны. И не к нам ли тоже обращены слова Достоевского: «Смирись, гордый человек, и, прежде всего, сломи свою гордость».

\* \* \*

Родная моя деревня и теперь небогата. Нераспаханной степи почти не осталось. Река Ик сильно обмелела. Вместо озёр болотца. Но и такая она близка мне и трогает моё воображение. Здесь, в казанском крае, нет столь высокого неба, как там. Не произрастает серебристый ковыль, нет зарослей бурьяна и чилиги. И не лежать мне на прибрежном, тёплом песке Ика, разгребая его ногами до прохладного в нём слоя. Не слушать стрекот кузнечиков в высокой траве с редкими красными ягодками земляники в ней. Не вдыхать пряные запахи конопли и полыни.

<sup>1</sup> С авторской фамилией Бикмухаметова. Среди татар бытовал обычай, которого теперь уже нет, – давать детям фамилию по имени их деда. Поэтому так получилось, что наши отец и мама – Бикмухаметовы, а мы, дети их, – Сафиуллины.